

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь.

Я не живу ни настоящим, ни будущим — все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение.

Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита даром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою родину, уничтожил с нею и те результаты, что были достигнуты ими долгим, упорным и самоотверженным трудом. Погибла Россия, и не осталось им в утешение даже сознания осмысленности их работы.

В этом отношении я счастливее их. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы, я сознавал, что результаты от этого получают немедленно. Я сознавал, что, задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашка Семинарист, Гилевич или убийца 9 человек в Ипатьевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками.

Это сознание осталось и поныне и поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни.

Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушенный ревом тысячей автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаюсь в покойное, глубокое кресло,

и с надвигающимися сумерками в воображении моем начинают воскресать образы минувшего.

Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских, и, под флером протекших лет в изгнании, минувшее мне представляется отрадным, светлым сном: все в нем мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас — мои печальные герои...

Для этой книги я выбрал 20 рассказов из той плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую служебную практику. Выбирал я их сознательно так, чтобы, по возможности не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих как изобретательность уголовного мира, так и те приемы, к каковым мне приходилось прибегать для парализования преступных вожделий моих горе-героев.

Конечно, с этической стороны некоторые из применявшихся мною способов покажутся качества сомнительного; но в оправдание общепринятой тут практики напомним, что борьба с преступным миром, нередко сопряженная с смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в ней оружия если и не равного, то все же соответствующего «противнику».

Да и вообще, можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто, глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями?

Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности.

Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного извращения фактов, равно как и уснащения, для живости рассказа, моей книги «пинкертоновщиной», он в ней не встретит. Все, что рассказано мною — голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих.

Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни.

А. Ф. Кошко

РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТ

В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо от знатной московской барыни — княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, — одной из богатейших женщин в России, в коем княгиня горячо просила меня явиться лично к ней для переговоров по весьма важному делу. Имя отправительницы письма служило порукой тому, что дело действительно серьезно, и я немедленно отправился.

Княгиня в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений.

Застал я ее взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала жертвой дерзкой кражи. В уборной, примыкавшей к ее спальне, находился несгораемый шкаф, довольно примитивной конструкции.

В нем княгиня имела обыкновение хранить свои драгоценности, особенно дорогие ей по фамильным воспоминаниям. И вот из этого шкафа исчезли две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. Сердоликовое кольцо имело лишь историческую ценность, так как под его камнем хранился крохотный локон волос, некогда принадлежавший Евдокии Лопухиной — первой жене императора Петра Великого, кончившей свою жизнь, как известно, в монастыре по воле ее державного супруга. Один из Стрешневых, влюбленный в царицу Евдокию, выпросил у нее эту дорогую ему память. С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешневых от отца к сыну и наконец, за прекращением прямого мужского потомства, перешла к вызвавшей меня княгине.

Нитки жемчуга были просто ценностью материальной, что же касается розового бриллианта, то в нем соединялось и то, и другое: с одной стороны, он был подарен в свое время царем Алексеем Михайловичем жене своей (в девичестве Стрешневой); с другой — он являлся раритетом в царстве минералогии.

Княгиня была чрезвычайно опечалена утратой этих дорогих ей вещей, но и не менее взволнована мыслью о виновнике этой пропажи.

«Горько, бесконечно горько, — говорила она мне, — разочаровываться в людях вообще, а особенно в тех, кому ты привыкла сыздавна доверять. Между тем в этом случае мне приходится, видимо, испить эту чашу, так как и при самом покойном отношении к фактам, при самом беспристрастном анализе происшедшего, подозрения мои не рассеиваются и падают все на то же лицо. Я говорю о моем французском секретаре, живущем уже 20 лет у меня в доме. Как ни безупречно было до сих пор его поведение, тем не менее согласитесь с тем, что обстоятельства дела резко неблагоприятны для него: он один знал местонахождение пропавших вещей и вообще имел доступ к шкафу. Но этого мало: он вчера весь день пропадал до поздней ночи, что с ним случается чрезвычайно редко, и, более того, он упорно не желает говорить, где находился между 7-ю и 11-ю часами вечера. Согласитесь, это более чем странно?!»

Я счел нужным пригласить этого француза к себе в сыскную полицию для допроса. Секретарь оказался чрезвычайно симпатичным человеком, лет 45-ти, спокойным, уравновешенным, с лицом и манерами, не лишенными благородства, словом, с тем отпечатком во внешности, что так свойствен французам, — этим сынам многовековой культуры.

Он сказал мне, что крайне удивлен и опечален тем, что у княгини могла явиться, хотя бы на одну минуту, мысль об его виновности, но вместе с тем категорически отказался дать и мне объяснение своего времяпрепровождения накануне, между 7-ю и 11-ю часами вечера. Как я ни бился, как ни доказывал ему необходимость установления *alibi*, как ни уверял я, что все, им сказанное, не выйдет за пределы этих стен, что ни одно имя, особенно женское, им произнесенное, не будет скомпрометировано — все напрасно! Он готов был идти на всякие печальные последствия своего упорства, но решительно отказывался ответить на нужные мне вопросы. Я так упорствовал, ибо чувствовал нервами, всем моим существом, что француз говорит правду и ни в чем не повинен.

Я убежден был, что в этом благородном человеке говорят соображения рыцарской чести, а не страх и желание замести свои преступные следы.

Но, увы! Начальник сыскной полиции не может руководствоваться лишь внутренним своим убеждением, не может он не считаться с конкретными фактами, а потому и в данном

случае не в силах моих было немедленно вернуть свободу симпатичному французу, и, волей-неволей, я передал его в руки следователя, высказав при этом последнему свои соображения. Следователь оказался упрямым, ограниченным человеком и, ухватись за факт скрывания нескольких часов, неизвестно где проведенных накануне французом, порешил арестовать его. И бедный секретарь был препровожден в тюрьму.

Передав это неприятное дело следователю, я тем не менее поручил моему чиновнику Михайлову по возможности выяснить условия и домашний быт служебного персонала княгини. Через несколько дней Михайлову удалось натолкнуться на следующую подробность. Месяца три тому назад княгиней был уволен лакей, Петр Ходунов, прослуживший у нее 8 лет и пользовавшийся ее доверием. Этот лакей не раз путешествовал в штате княгини, следуя за ней за границу на ее собственной комфортабельной яхте.

Был чрезвычайно дисциплинирован, кроток и смирен. Княгиня настолько доверяла ему, что бывали, по ее же признанию, случаи, когда она приказывала Петру открывать заповедный нескороаемый шкаф и то приносить, то прятать в него те или иные драгоценности.

Уволен он был по довольно странной причине: оказалось, что этот смирный, трезвый человек принялся вдруг без всякого видимого повода грубить, пьянствовать, манкировать службой, словно нарочно напрашиваясь на увольнение.

Все это показалось мне странным.

Петр Ходунов не числился в штрафных списках сыскной полиции, на всякий случай я навел справку о судимости и по изданию Министерства юстиции, и каково было мое удивление, когда по нему оказалось, что Петр Ходунов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, дважды судился за кражи и отбывал за них тюремное заключение.

Я немедленно кинулся его разыскивать. Это не представило труда, так как адресный стол дал точную о нем справку.

Но здесь на меня напало раздумье: арестовать-то я его арестую, но что же из этого выйдет? Он, конечно, от всего отпрется, скажет, что целых три месяца как не служит у княгини и, во всяком случае, вещей не выдаст, а предпочтет терпеливо отсиживать, благо в прошлом он уже натренирован в этом отношении.

Я предпочел установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. Дня два они наблюдали за ним, донося, что Петр Ходунов ведет довольно рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует по трактирам. Как вдруг на третий день агенты прибегают и сконфуженно признаются, что «упустили» Ходунова где-то в Лефортове. По всем данным, заметив за собой наблюдение, он ловко перехитрил их и... бесследно скрылся.

Что оставалось делать?

Разбравив моих неловких людей, я немедленно нагрянул на квартиру Ходунова с целью производства обыска, а при случае и ареста последнего. Хотя на арест я мало надеялся, так как между потерей из вида Петьки моими агентами в Лефортове и моментом нашего прибытия на квартиру прошло часа три, т. е. промежуток времени более чем достаточный для того, чтобы заподозривший беду мог вернуться домой, забрать украденное и исчезнуть бесследно.

Ходунов занимал квартиру в две комнаты с кухней; одну из них он сдавал сапожнику, а в другой жил с какой-то Танькой и ее матерью. Петьку мы, конечно, не застали, но бросилось мне в глаза не совсем обычное поведение женщин: при нашем появлении они ничуть не растерялись, словно ждали нас, и перекинулись даже, как показалось мне, насмешливым победоносным взглядом. Держали они себя весьма вызывающе. Тщательный обыск ничего не дал, но так как женщины, а с ними и сапожник, ввали напропалую, утверждая, что Петька вот уже три дня как исчез неизвестно куда, между тем как люди мои, ведя наблюдение, еще сегодня «приняли» Ходунова с квартиры, то я решил арестовать всю троицу, препроводив ее к себе и оставив засаду на квартире на случай, хотя и маловероятный, Петькиного прихода.

Я принялся за допросы. Мать оказалась довольно забитым существом, тупым и неграмотным, решительно все отрицавшим. Роль ее была, очевидно, пассивной; а так как к тому же она оказалась больной, страдая кровотечением, то я счел возможным отпустить ее домой под охраной агента. Дочь была в другом духе: шустрая, разбитная, хорошо грамотная, бывалая. Так же, как и мать, все отрицая, она симулировала, и довольно удачно, возмущение по случаю ареста, обещая даже кому-то и куда-то жаловаться. Ее я задержал при сыскной полиции. Сапожник отвечал то же:

— Знать — не знаю, ведать — не ведаю!

Но быстро сдал свои позиции, лишь только я прикрикнул:

— Ах, не знаешь?! Ну и будешь сидеть, пока не разыщем Петьки. Да и за укрывательство вора еще отсидишь особо.

— Ну во-о-о-т?! Ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого г... Нет, уж вы, пожалуйста, отпустите, а я что знаю, то скажу.

— Где Петька?

— Этого не знаю; но действительно, за час до вашего прихода на квартиру Петька примчался что шальной, схватил баульчик, попрощался с бабами, что-то сказал про депешу тете Кате (это, стало быть, сестра старухи) да и был таков.

— Где же живет эта тетя Катя?

— Вот этого, ей-богу, не знаю.

— Ты давно снимаешь комнату у Петьки?

— Третий месяц пошел.

— Не замечал ли какой-нибудь разницы в их жизни за последнюю неделю?

— Действительно, прежде они жили беднее, а последнее время загуляли. И гости, и пьянство, и харча стала другой. Третьего дня и меня угостили на славу; опять же и Таньке он золотые сережки вчерась подарил.

Я освободил сапожника и препроводил его домой под засад.

Хорошо было бы разыскать эту «тетю Катю», думалось мне.

Хотя, с другой стороны, и она не выдаст Петьки, если только заинтересована в деле. Во всяком случае, об этом надо подумать.

На следующий день мне доложили, что мать просит разрешения прислать арестованной дочери пищу и смену белья.

В наших полицейских камерах кормили хорошо и обильно, а посему арестованные, конечно, не нуждались в собственном продовольствии, но я не препятствовал подобным просьбам, требуя лишь внимательного и предварительного осмотра «передач». Так было и в данном случае, с той лишь разницей, что Танькину передачу я пожелал видеть лично. Она оказалась скромной: горшок щей, круглая, дома испеченная булка да чистая сорочка.

Я в раздумье уставился на изрезанную и общипанную булку; как вдруг мне пришла в голову мысль.

Взяв крохотный листочек бумажки, я мелкими каракулями карандашом на одной ее стороне написал: «Тетей Катей от Петьки получена депеша. Спрашивает, как ему быть?»

Эту записку вместе с огрызком обслонявленного карандаша я приказал запечь в особо состряпанную для сего булку и передать ее Таньке вместе с домашней ее корзинкой, щами и рубашкой.

На следующий день, при отдаче Танькой пустого горшка и грязной сорочки, в рубце ее подола мои люди нашли зашитый ответ, написанный ею на моей же бумажке. Он был таков: «Вели тете Кате послать Петьке депешу в Нижний Новгород (следовало название улицы и гостиницы), написав, что я под замком».

Вечером в сопровождении двух агентов я выезжал с курьерским поездом в Нижний.

Остановясь в гостинице «Россия», я вызвал туда начальника местного сыскного отделения. По его словам, Петькино пристанище оказалось скверненькими меблированными комнатами где-то за Окой, но имевшими для нас то преимущество, что содержал их старик, некогда служивший в сыскной полиции и не порвавший и доныне с ней связи. Он не раз оказывал услуги местному начальнику, сообщая о подозрительных типах, посещавших его комнаты.

Я решил поговорить с ним.

— Скажите, проживает у вас Петр Ходунов?

— Как же-с, третий день занимает номер.

— Что он у вас делает?

— Да черт его знает! Уходит с утра, пропадает весь день, а к вечеру возвращается с ярмарки пьяным.

— Послушайте! Вы сами прежде служили по сыскному делу, так, понимаете, вы можете нам помочь.

— С превеликим удовольствием! — отвечал старик, оживляясь, как старый боевой конь при звуках знакомого сигнала.

— Скажите, не имеется ли свободного номера рядом с Ходуновым?

— Как раз сегодня освободился.

— Вот и прекрасно! Мои люди его займут. А как стены между ними, толсты?

— Какое там! Дощатые, можно сказать, перегородки.

— Сейчас Ходунова нет дома?

— Нет, ушел с утра и, наверное, до ночи не вернется.

— Отлично! Вы вот что, голубчик: сейчас же просверлите в стене пару дырочек да замаскируйте их хорошенько, вбейте, что ли, рядом гвоздей, а я отправлю к вам двух «пассажиров».

— Слушаю-с...

Через час двое приезжих, купеческой складки, с чемоданчиками в руках, поторговавшись, заняли соседний с Ходуновым номер. В просверленные в стене отверстия они осмотрели Петькино помещение и видели вечером, как полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два свертка, один маленький, другой побольше, и, спрятав их под подушку, завалился спать.

На следующее утро один из моих агентов докладывал мне по телефону в «Россию»:

— Петька встал, помылся, оделся и, вынув из-под подушки нечто, спрятал один сверток в карман пиджака, а другой, маленький, бережно развернул, повернулся к окну и, вынув двумя пальцами его содержимое и прищурился, поглядел на свет. В пальцах его засверкал розовый камень. После этого Петька, самодовольно улыбнувшись, снова завернул камень в бумажку и спрятал его в нижний, правый жилетный карман. Затем, торопливо присев, написал какое-то письмо, заклеил конверт и, видимо, собирается уходить.

— Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте это мое приказание агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное исполнение этого поручения.

Я сейчас же помчался за Оку и по дороге встретил моих подчиненных, зорко следящих за каким-то впереди них идущим субъектом.

Незаметно присоединясь к ним, я последовал за Петькой.

Последний быстро шел и привел нас к главному ярмарочному зданию, где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов взошел в него. Мы последовали за ним. Вместе с нами вошло человек десять из местной агентуры. Петька подошел к окошечку, купил марку, наклеил ее и направился к ящику, чтоб опустить письмо. В этот самый момент я подошел к нему и крикнул на весь почтамт:

— Стой! Я начальник Московской сыскной полиции. Подай бриллиант!

Петька опешил, разинул рот и наконец пролепетал:

— Что вам угодно? Какой бриллиант?

— А тот самый, что лежит у тебя в правом жилетном кармане! — И с этими словами я запустил пальцы в его жилет и, быстро освободив камень от бумажки, высоко поднял его над головой. В пальцах моих засверкал бледно-розовый камень, цвета нежной, румяной зари. По оцепеневшему на миг почтамту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся.

— Господи! Да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то?! Берите уж и жемчуг, все равно от вас не скроешь! Насквозь видите!

Ну и дела! Вот так штука!

— Где сердоликовое кольцо?

— Вот чего нет — того нет, господин начальник!

— Куда дел?

— Продал вчера здесь, на ярмарке, персу. Да оно ничего не стоит, пять рублей получил...

— Веди сейчас же к персу!

Лавка перса была указана, и кольцо от него отобрано.

Итак, вор был арестован и все вещи найдены. Вечером под конвоем Петька был отправлен в Москву, а я на радостях пожелал со своими двумя московскими служащими отпраздновать удачу. С этой целью мы отправились вечером в ярмарочный кафешантан.

Только русский человек дореволюционной эпохи может иметь понятие о том, что представлял из себя Нижегородский шантан в период ярмарки. Русский безбрежный размах подгулявшего купечества, питаемый и воодушевляемый сказочными барышами, зашибленными в несколько дней; шальные деньги, энергия, накопленная за год и расточаемая в короткий промежуток времени — вот та среда и атмосфера, в каковой я очутился. О моем пребывании в ресторане каким-то образом узнали, и едва успели мы занять столик у эстрады и проглотить по стакану сухого монополя, как стал я замечать, что не только с соседних, но и отдаленных столиков потянулись к нам шеи и головы. Сначала на нас посматривали с осторожным любопытством. Но по мере того как опустошались бутылки, застенчивость пропадала и нам стали улыбаться, подмигивать, поднимать бокалы и пить за наше здоровье, а то и попросту ука-

зывать пальцами. Наконец в зал ввалился из кабинета какой-то сильно подвыпивший купец и с бокалом в руках, обратясь ко всем вообще и ни к кому в частности, заплетающимся языком, но громовым голосом произнес:

— Православные! Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете? Так я вам скажу... Мой земляк, мы оба из Москвы, господин Кошков! Во-о какие осетры водятся в нашей Белокаменной! Он да я — это не то что ваша нижегородская мелюзга! Слыхали поди, как сегодня он в почтамте подошел к жулику да и говорит прямо: «Скидывай сапог! У тебя промеж пальцев зеленый бриллиант спрятан!» Что бы вы думали? Так и оказалось все в точности! Этакого человека мы должны ублажать. Он охраняет наши капиталы от всякой шантрапы и пользу нам великую приносит!

Слова пьяного москвича послужили сигналом: меня тотчас же окружили, кто жал руки, кто лез целоваться. Какой-то особенно экспансивный и не менее пьяный субъект вывернул огромный бумажник и заорал:

— Может, деньги нужны? Бери без стеснения, милый человек! Бери, сколько хошь...

Другой ввел в зал оркестр, заигравший туш. Заорали «ура!».

На шансонеток, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь сторублевых бумажек, и пошел пир горой, неудержимый, дикий, не знающий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах, — словом, тот пир, о масштабах и размахе которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного понятия все те, кто не родился с русской душой.

Оглушенный, растроганный и в полном изнеможении вернулся я к себе в гостиницу.

На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву.

Вызвав к себе Таньку, я сказал ей:

— Ну, полно ломаться! Говори же, где Петька?

— Ой, да что вы, господин начальник, все о том же. Я говорила уже много раз, что ничего о нем не знаю.

— Так-таки ничего не знаешь?

— Разрази меня Господь! Не сойти мне с этого места! Лопни мои глаза! Ничего не знаю!

— И глаз своих не жалеешь?

— Да, господин начальник, пусть лопнут, ежели вру!